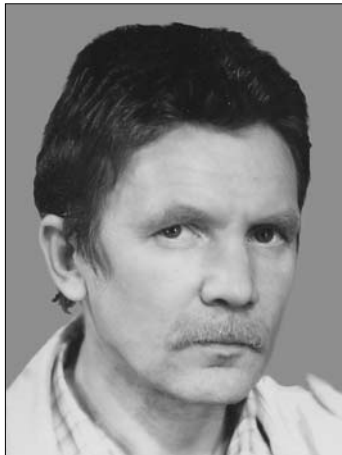


ВЛАДИМИР УРУСОВ



“ДЕТСКИЙ ДОМ”

РАССКАЗ

В шестом часу вечернего затишья над Криворожскими прудами распалется янтарное солнце, и катится этот баскетбольный шар заоконный неведомо куда, путается в зарослях крещенского инея на откинутых фрамугах, и в зеленоватых дебрях теней по стенам исползающих из кадок пальм, фикусов и рододендронов, валит тумбы и столбы с роящейся бесшумной пылью на пол, на тусклый восковой паркет. И где-то на Варшавке глухо бренчит деревянными рёбрами блуждающий по шестому древнему маршруту трамвай. Кто его слышит? Рухнув лбами на учебники, класс дремлет, и никому не мнится, будто через четверть века сюда дороеется метро. Нет, нам мерещится только ужин. Прозорливец здесь Мэйсон лишь, воспитатель Моисей наш Иваныч. Он сидит в углу с открытыми глазами и минут через десять должен проснуться и воскликнуть:

— Готовы ли уроки, неучи? Моя аэрокобра просит дозаправки, это всем понятно?

У него семирядная орденская адская планка, чуть приоткрытая лацканом пиджака, точно над сердцем, где догорает целая эскадрилья сбитых некогда бомбовозов, мерцает и почти дымится в розовато-неоновых сумерках, в лианах с тиграми Таможенника Руссо.

— Так точно, господин преподаватель боевой и политической самоподготовки! — должны мы ответить разбойным хором. — Разрешите удалиться. Можно пораньше?

УРУСОВ Владимир Глебович родился в 1947 году в Калининградской области. Окончил Московский горный институт, работал геофизиком на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Автор пяти сборников стихотворений, в том числе “Три любви — три степени свободы”, “Всплеск живой воды”, “Медленный ветер”. Член Союза писателей. Живет в Москве.

— Кто же вас держит? — фосфоресцирует бобровая проседь его кубической головы. — И не опаздывать к столам, даже если наврут куранты! Задание понято, или что, поварам котлеты снова греть?

Наука поневоле

Кто мы, какие зефира дуновения занесли нас сюда, в Криворожский проезд с детдомовскими корпусами в яблоневом запущенном саду? Мы офицерские недоросли, и отправили нас из Венгрии, Польши и Германии в прошлом году, за чужие грехи: кто-то после выпускного бала в Потсдаме растащил самодельный реквизит солдатского клуба и с примкнутыми штывками, маскарадной колонной промаршировал по террасам Сан-Суси... потревожил дух Барбароссы. Ну, и решили ещё более высокие сферы оставить в гарнизонах одни восьмилетки, успокоить непобедимый дух.

— Полегчало Восточной Европе! — сразу определился Мэйсон, обходя наше выстроенное во дворе каре. — Поздравляю с началом праведной жизни, господа офицеры. Будем из хулиганов людей делать — ангелы получатся...

— Моисей Иванович упрощает проблему, — возразила директриса, дама в плотном, несмотря на сентябрьский зной, жёстком плаще. — Вы пришли сюда из интеллигентной среды, а уйдёте, я надеюсь, операторами по обслуживанию ЭВМ, такова наша специфика, — и, отшатнувшись от микрофона, не глядя, ткнула, отмахнулась журналом переключки от висящей у входа багровой вывески с серебряным тиснением: “Интернат № 72, экспериментально-педагогическое объединение”.

— Вот такой вот на нашу долю выпал недетский дом, — ласково вздохнула в другой шепелявый микрофон завуч Сабрина Борисовна, красотка в фиолетовых чулках и в гладкой юбке с чётким рельефом заблудившихся трусов. Внешность лгала. Через неделю ей присвоили новое звание — Собака Баскервилей.

На всём готовом приживается легко. Уж в спальнях скарб раскидан по этажеркам и шкафам, к обеду форма получена, мохнатые тёмно-стальные балахоны, гимнастёрки с горловыми удавками, но распахнутые широко на груди. И распоясанные отцовскими ремнями, в джинсах и одинаковых китайских кедах, мы почти неотличимы, если взглянуть издалека. Иное дело наши девчонки в своих стандартных чёрно-коричневых кринолинах с бантами, до скромного беспредела укороченных и наспех проглаженных. Откуда уютюги, когда успели, какие они, оказывается, разные на первых, ослепляющих коленками порах! И старушка надзирательница — Парка — прядёт бесконечную нить собачьего носка у врат спального корпуса женского № 2... И никто пока не знает, что через чердак по балкам есть пути к нам, в мрак строения № 1, и без стражей... Загадочна наука поневоле.

Наш спорт

По утрам нас будит бой весёлого бубна.

— Мэйсон, конь парнокопытный! — гудит из кокона яловых одеял Дубровин, — никакого почтения к физической культуре. Что ему баскетбол?

— Брось, Дуб, — говорит Черноусов, — брось-ка лучше ты мне гирию свою, на подушку положу. Скажете — с девушкой он, компоту горячего вечером хлебнул лишку, да и простыл, не дышит...

Но двухметровый Дуб сложился, опять вытянулся, и словно как-то приседая и шаря по стене ладонями, метнул штрафную гирию в далёкое кольцо. Сладок сон на рассвете. Кто бы поверил? Года через полтора он будет играть за сборную МИФИ.

— А мне опять снились верблюды, — загадывает загадку Сергачёв, — к чему бы?

И косящие зелёные глаза Серого вспыхнули, когда он обернулся и открыл нам лисью свою личину с крапинами веснушек. Небо в зашторенном закулисье будто померкло.

— Ну и как, вляпались в источник? — задирается, смеётся Черноусов — Будда в тельнике, с бурятским плосконосым профилем, и шут с вечно подтянутым на перевязи, якобы вывихнутым предплечьем.

Но юмор — скорость перебора вариантов, и тут за Серым не угонится никакая ЭВМ, хотя и видно, что блистать ему сегодня и всегда просто лень, лень:

*Откуда я взялся, откуда
в той жёлтой пустыне, куда
коричневого верблюда
вела золотая звезда...*

Увы, Будда только шурится — ослепить его невозможно, поздно, если коридорный гвалт сменяется задверным перезоном бубенцов:

— Эй, офицерё! Запертое, на свободу выле-зай! Разнесу опочивальню!

В нашей комнате подобрались сплошь баскетболисты, маята на улице ужасна без мяча — и пауза опасно затягивается...

— А у нас больной, зараза прицепилась! — стонет Дуб. — И где мои штаны?

Через тридцать секунд мы уже на плацу, машем рукавами перед парадным подъездом, зеваем и скрипим хребтами в ритме маршей из кабинета Собаки Баскервилей. Садистка торжествует:

— Три-четыре, три-четыре, шаг на месте, раз-два! Теперь наклоны с подскоками. Догоняем музыку, обгоняем!

Лечь бы набок да и заснуть тут под чугунной скамейкой, или влезть на пожарную лестницу и свеситься боксёрской грушей над гривой гипсового Сфинкса... О, как хотелось бы там сейчас очнуться!.. И пусть нас заклюют взбесившиеся соловьи...

— А Черноусов почему в тельняшке?! — блистая круглыми очками, рычит динамик. Где форма № 3 или хотя бы № 2, спортивный костюм или халат с кроссовками... Босиком нельзя!

Будда падает на колени и оглядывается на бурые пятки:

— В толк не возьму! — кричит он, воздев руки. — Меня обули ещё в среду, а сегодня вторник. Что делать?

— Ну ладно, ладно, — измазанным в патоке и киселе голосом возбуждает нас итальянский балкон. — Иди в медпункт, смени бинты, надень брюки и... до пятницы от художественной гимнастики мы тебя асс-вабаждаем!

— Мы? — приветает задремавший верхом на Сфинксе Мэйсон. — До какой пятницы! Завтра все голые сюда заявятся. Девушки могут обидеться...

— Это мне с медсестрой дело решать, пятниц на неделе много, — удаляясь, через поражённое плечо цедит Будда, — не сбивайте народ с ритма. Народное здоровье выше личных интересов, для меня во всяком случае.

В столовой он будет ворчать, как Кощей с костью в глотке:

— Душа пицци не принимает, измучилась душа! — но затем нехотя проглотит тефтелину, дожждётся, пока мы напьёмся чаю, и уж тогда отодвинет стакан и улетит на раздачу за добавкой. — Коты мои в котельной совсем оголодали, отощали на мышах, никакого аппетита! Так что сметаны, масла и баранины, сырой, естественно... Па-прашу не жалеть! Сабрина Борисовна наказала.

Вечером вместо ужина мы жарим мясо в костре на задворках котельной, беседуем о кошках.

— Удивительные животные, — сообщает Будда, — видят в темноте, грызунов душат да плюс ко всему плодятся раз в 62 дня. Не успеешь моргнуть, а кочегар уже докладывает: "Есть три штуки!" Бывало, и по пять залпом выбрасывало, но реже.

— И где они сейчас, котята твои? — спрашивает Светка Васнецова на подходе с охапкой сена. — Никто почему-то не мяукает.

— В зоомагазине на Арбате, где ж им быть? Сегодня семерых сдал, я ведь на больничном, а за ними уход нужен, вода, например.

— А остальные почему молчат? Ты говорил, дюжина скопилась. Неужели утопил?

— Всех не утопишь. Невыгодно.

— И всё-таки, — не отстаёт Светка, — признавайся давай. Ты всю Москву своими кошками задолбал, они же не просто так размножаются, а в геометрической прогрессии. Кому продал?

— Ну, хорошо. У Сабрины они, вся корзина. Оптом взяла.

— Купила?! — удивляется Дуб.

— А что бы мы жарили, — кивает на костёр Будда, — тигров? Клянусь хомьяками — подарил! С хомьяками проще, они травоядные...

Вдали зудит Варшавка, запредельная промзона курится дымами, будто подпыхивая амарантовое облако, нависающее над нами, и протяжное, похожее на карту Союза с задыхающимися в безветрии окраинами, оно парит и колеблется по ускользающим в чернь границам своим в чаше опрокинутого неба. И на западе магма заката колыхнется над прудами, и в дрожащем воздухе серебрится крыльями загадочный планер, возносимый волнами тепла над застывшей и заброшенной с весны, багровой котельной. Как он попал туда, на битумную крышу к грибам вентиляторов... Но потом об этом.

— А здорово, что мы сегодня посетили вашу идиотскую физзарядку, — отвечает Дуб для Светки могучий комплимент, — иному организму без встряски просто скучно. Общение с прекрасным полом облагораживает человека. Не знаю — Серый так говорил.

Серый настраивает обезображенную казеином свою гитару, лиру с грифом, захватанным пальцами и на винтах крепежа. Ему петь нельзя бы давать, есть охота. Но поздно — рот раскрыт.

*Только струны стальные потрогай,
прозвонят и напомнят они
небо в звёздной траве за дорогой,
где горят золотые огни.*

*Так легко этим светом согреться,
жизнь прекрасна и, значит, проста
на тропе, что биением сердца
пролегла от костра до костра...*

И кажется вдруг, что такого дотлевающего костра нет нигде.

Но шрамы на овечьей ляжке уже не сочатся пондерозовой пеной, и картошка дозрела, не выворачивается на вытек из-под лезвия с наборной рукояткой ножа. Первый портвейн, первые сигареты, и девчонки наши, совсем пьяные, объелись печёных яблок жгучих, нечаянно осоловели, не пришлось бы волочить их на закорках по темницам погребов, недоцелованных и сонных, а если подвал подло заперт изнутри на кол осиновый — блуждать с драгоценной ношей по малоизвестным чердакам... подобно голубям, изображая Ангелов Хранителей. Теперь они — наш спорт!

Слова любви

Урок третий, пара по-институтски вторая: нас посвящают в премудрости радиоэлектроники на полную вместимость пробуждающихся мозгов. Это сверхпрограммы и с университетским доцентом на подработке Евгением Гавриловичем, для которого в его сорок преклонных лет мы *молодые люди, судари и барышни*. Двубортный костюм и хрустальные запонки, и малахитовый мольберт, вдавленный в стену солнечной балкой, консолью запрокинутый в Эдем.

Соблазн потусторонний невелик, но стоит лишь оглянуться на шкаф, на призму плазмы с Васнецовой, и она поджигает пухлые губы, щёки в ясном зеркале горят, но израненная комарами шея бледна, как валик выщипанной белоснежной ваты. Или нежная шаль стекает по-змеиному на пол. Так, стоп, никаких фантазий, это не корона, а пшеничная коса, и на груди — не узлы муаровых скомканных лент, а взволнованный воланами учебнический передник. И что нам с этими сокровищами делать?

Записку надо сочинить, вот что! Слова? Нет, здесь слова ничего не значат, есть и неприносимые слова...

И тени рододендронов струятся, муринами ползут на чистый лист, и катятся в прищуре, сохнут рыбы слёзы.

И оживает кукольный под зонтом пентод с лавиной катионов, выбитых из сетки, создается ловушка с тупиком для отфильтрованных помех, всплеск мысли с каплей крови, является на призывный минус стоячий обес-точенный, но вероятный плюс, и главная точка на выходе, клемма сердца пронзается из-за угла вчера ещё насвистанной стрелой... Но где же паразитные сигналы?

Схема проста — поймёт, если не дура!

О, если бы не вперенный в мучительное творчество звонок, немалых дел большая перемена. Спросить что ли у Гаврилыча, куда воткнуть рубильник...

— Отчего бы вам не объясниться лоб в лоб, — проследив путь плясущей синусоиды, — насоветовал Дуб. — Дерзни и наслаждайся.

— Не смею, но хочу и не умею. Голые провода мерещатся. Убьёт.

— Потренируйся! — предложил Будда. — Обожги чужой горшок. Для старта... да хоть Тиганину прощупай, шесть пудов удовольствия.

— Эх, Надюха, мечта Ремарка! — встрял Серый. — А черепки мы склеим. Ты же не амфора.

— С чего начать? Дело серьёзное, понадобится галстук. И если клюнет — что потом? Посыпятся упрёки...

— Её заставит плакать только лук! — ревниво заметил Дуб. — *Пред ни-ми суд и правда — всё молчи.* Следи, чтобы не заставили жениться.

— Ладно, буду осторожен.

— И верно, галстук ни к чему, придушит, — задумался Сергачёв. — Попытайся спеть для заправки. Что-нибудь задушевное, блатное...

— Да у меня и слуха нет. Ни голоса, ни слуха.

— Страсть есть страсть, ей гимн нужен, а не вокал, — пошутил напоследок Будда, и отправили меня в актёрный зал с камертоном рояль проверить, пока драмкружок Сабрины на качели не взобрался, Гамлета рапирами щекотать и ядами шкуры свои в трико исполаскивать.

Тут она мне и встретила с колбой бутафорской цыкуты!

— Ровно в полночь тебя ждут в холле напротив библиотеки, — а кто и зачем, сама сообрази, здесь не детский сад, — назначил я свидание. — Что в банке? Сколько граммов? Прощай, Тиганина.

И она удивилась. Ещё больше её удивило позже моё пение. Я почти не врал на первом куплете:

*Когда тебя я встретил, черёмуха цвела,
и в парке тихо музыка играла,
и было мне тогда ещё совсем немного лет,
но дел успел наделать я немало...*

Второй скомкался в батистовых кружевах её воротника. Темно было, да и страшновато. Всё казалось, что в библиотеке читатели ночные в засаде сидят, выскочить могут.

Минут через десять я уже валялся на своей панцирной койке, делился опытом.

— Ну как, отдалась? Быстро обернулся, — встретил меня шестиглазый Серафим недрёманный.

— Сдаться-то может и не успела, но ерзала метлой своей изрядно.

— А ты? Сказал, что хотел, получил урок?

— Урок не урок, а... прижал я к батарее у подоконника её всю, несильно, не слабо, пою себе, а она — “отпусти, мол, мне жарко, я вся горю”. Уши однако прохладные. Нонсенс!

— Эх вас раскочегарило, — удивился Дуб. — Вот и пойми их!

— Можешь проверить, там всё, как было.

— Откуда нам знать, как там было всё?

— Тут и гадать нечего, — догадался Сергачёв. — Сбежала Надежда?

— А вы будто и топот не слышали. Трубы до сих пор вибрируют. Ду-майте — почему...

— На твою беду отопление сегодня включили. Суши носки, и в другой раз будь к дамам повнимательнее.

Интересно, что через пару месяцев, когда гиря Дубровина покроется юной плесенью, — с чего бы? — Тиганина ужарится поровну на две половины и перевоплотится в Барби... Где ты теперь порхаешь, прекрасная медуница? Счастливая батарея!

В ряду остальных совра-превращений везение изменило мне.

Возможен заговор, но вот варианты ответов на стандартное предложение “Меня никто не любит. Хочешь стать первой?” Итак:

“Запросто, но некогда, мы ещё химию на завтра не сделали” — это Гусятина, комсомолка озабоченная, и через минуту сестра её, такая же тупая отличница. Биологию бы сюда ещё приплели!

“Тебе рано. Катись в свой спортзал, пока груша не лопнула, побоксируй там” — не понял кто, в полотенце из душа шла.

“А как это? Что надо делать?” Глупый вопрос. Если бы я знал, не приставал бы.

“Ох смотри, Васнецовой расскажу!” Ну и что? Пошутить нельзя.

“Светку не боишься? А зря, бойся” Далась им эта Васнецова.

“Ты уже это говорил на той неделе. Сказано — не хочу пока!” Память, грешным делом, подвела — опять Гусятина подвернулась.

“Руку — убери. Убери, говорю, руки! Они холодные”. Ну, так и согрела бы их там. В перчатках, что ли, смысл извлекать оттуда.

“У меня уже есть... друг. Опоздал”. Ха-ха-ха! Одним другом больше, другим меньше. Речь не о дружбе, балда.

“Тебя Будда подослал? Отелло... Привет хоякам, Яго!” Рудименты животного инстинкта, жертва психофизических проблем. А в списке значится как завучева дочка. Вычеркнуть, доложить Будде и забыть!

“А что мы скажем Васнецовой? Ничего?” Вот! Сорок капель старого портвейна. И нет в таблице чувств просвета, кроме одного, хоть заново начинай разбалтывать дремучую бодягу, тот алавастр, тягучий твой нектар...

— Тебя никто не любит. Хочешь, я буду первым? — слова любви я вспоминал, слова любви.

Битва за честь

После обеда — часы свободы, и Сергачёв ложится с Брокгаузом на диван, надеясь к весне узнать всё ни о чём, а мы наваливаемся животами на подоконники и смотрим на стадион, на легконогих наших атлетов, вернее, на атлеток с бантами в волосах и попутным ветром в шортах. Разминка увлекает, зрелище бодрит. Видят ли они нас, готовых выпасть в окна? О, да! Мы строгие тренеры!

— Метательницам, — говорит Будда, — нужно иметь небольшую, желательно увесистую грудь. И тогда при резком торможении может возникнуть резонанс, и ядро что? Приобретает крылья. Пойти объяснить?

— Потом скажешь. А для удачного прыжка я бы сместил им центр тяжести на правую стопу. С подошвой оптимального размера.

— А если я левша, — задумывается Дуб, — наоборот не выйдет?

— Трудно предугадать. Тебе это не надо... — продолжается разговор о вещах, нас мало интересующих.

И бегуны, мастерски вскидывая озябшие коленки, наворачивают километраж футбольного овала, пинают в гаревой осыпи антоновские в крапе плака яблоки, и если идёт дождь, извлекают микрорадуги из всыхивающих луж, словно там тлеют солнечные брызги. И на взлёте над сбитой планкой, подстреленные будто, больно падают в пучину набитых стружками матрасов наши чемпионки Гусятины, русалка Вероника и Барбара, премудрая змея...

— Эй, чтец, что там про баскетбол? Полистай Эфрона.

— Не дошёл пока. Бас-гитары почему-то нет, но есть графиня... Баскервилей. Озвучить, Ваше Сиятельство?

Будда в бешенстве. Но прикрыв окно и превозмогая “боль”, он закладывает длань за борт пижамы и склоняется над шахматной доской, выстраивает наши шашки в зонную защиту перед пешками противника, раздавленными блюдцем его лунного лика:

— Французы сразу не сдадутся. В сумме они выше нас на две-три головы, а на кону, напоминаю, каникулярная поездка в Ленинград. Поэтому предлагаю...

— Не жалеть полиглотов! Вырубить всех в первом периоде, — подсказывает Дуб, — а потом...

— А потом ты нахватаешь фолов и тебя вышвырнут в раздевалку. И пешота всё испортит, это не футбол.

— Тактически Москва за нами, деваться некуда, — язвит Серый, — но есть стратегия, выработанная за предыдущие века. Её-то мы слегка и позабыли!

— *Чужие изорвать мундиры о русские штыки?* — переспрашиваю я.

— Вот именно, но не сразу! Сперва мазать, хромать, падать и лежать, — сметает Будда мою шашку со стола и с треском переворачивает свою, — глядишь, так кто-нибудь в дамки и пробьётся!

Что ж, дельный план, тут он спец, — и мы срываемся в спортзал, ловить удачу на штрафных и дальних бросках у самой Победы под подолом... Лишь бы урочные учебники не мусолить — сегодня дело это несвятое для нас: честь — наш долг.

Назавтра можно и вообще с кроватей не сползать, еду нам приносят из трапезной учительского отсека, на мельхиоровых блюдах с отечеканенными Купидонами.

— Кому варенье и блины, а мне так сало и бобы. Люблю калории.

— Проглажена ли форма? Благодарю за рукава. И номера пришиты?

— Нет-нет, спасибо, сами обумемся.

И бесхвостый планер с рёбрами лонжеронов рвётся с закопчёной крыши в клумбы с лебедой, и бури ждёт скелет летучей мыши, дрожа хребтом в заплатанном чехле. А мы сидим, как куры на насесте, бобы с вареньем нехотя клюём...

И вот в пятом часу рывкает на подъезде облупленный ЛиАЗ с интеллектуалами, прибывшими из такого же подопытного интерната с академическим, но инъязовским уклоном.

— Мытищам от Варшавки физкульт... — басит оглушительный Мэйсон. — Гвардии офицерам запада...

— Привет! — хрипит из динамика звучная Сабрина. — Слава финалу! Да здравствует Аврора.

Приходится делать вид, будто мы и не знакомы совсем: в случае проигрыша нас убьют, а черепа перешлют в Кунсткамеру или в Эрмитаж.

И выходят из автобуса исполины эпохи ископаемых кожаных мячей — Лейпциг, Будапешт, Вюнсдорф и Вена. Полузабытые школы, клубы, гарнизоны, в пыли развейные стадионы, утраченные времена... Парад беспамятства — и гаснут наши оскаленные тени по обе стороны берлинского забора, где замурована колючая звезда...

Осталась фотография — купол запавшего в небо потолка, стрельчатые окна за рабицей, периметр балюстрады с колоннадой обложенных матами столбов, канаты, кольца, брусья, и подкошенный свинцовым солнцем, нависающий над душой гостевой балкон с почтенным педсоветом в прорехах пустот между обшарпанных балясин.

И в центре зала — подкрашенные серебрянкой оловянные солдаты неизвестного полка. Они нас ждут, следы не гаснут. Это арена, и мы твои клоуны, здесь цирк, и надраенный восковой паркет тускнеет в глубине фотоальбома. Позеленели бляхи ремней, давно обношена мышьяная униформа, и день в день вдетая золотая нить прошлого потемнела, обволоклась узловатой паутиной застывшего в своде заоблачного паука. Где зрители? За прозрачным декором театральной сети глушат они или торопят судейскую трель стартовой свирели...

Короче, мяч в игре, но игры нет, на площадке крабы в банданах и водолазных башмаках... Пятый у нас — очередной пехотинец, гоппит, вынужденный за три минуты причастия, извините, к Большому спорту, выжать из футбольных своих бёдер ведро пота и в броуновской беготне вдруг сдуру и по-бабы от груди ударом в щит вывести траекторию броска на подсуетившегося Будду. Отскок подхвачен — счёт открыт!

Второй маэстро после серии кульбитов и пируэтов сползает разгвазданной амёбой с шведской стенки. Пока останки собирают в урну и возвращают на скамью запасных, Дуб зарабатывает на секундах умолчания ещё пару очков.

— Паду ли, выживу ли я? — выходит в поле следующая жертва, летучий страус с недоношенным яйцом.

— К чему сомнения? — уверенно рубит ему просеку в чащобе верзил, зачарованных такой наглостью, сам Серый. И продавленный в бездонное гнездо корзины мяч издаёт резиновый победный звон, а лингвистам достаётся желток без скорлупы с откушенным обрывком пуповины — молчат перепелиные сердца...

— Башка плохо варит! — и катится крученный пас мой, посланный в зенит.

— Если бы она соображала, тебя бы там не было.

Где там и почему не здесь? И прирастают огненные цифры из тьмы живой в загадочном табло...

Между тем на все наши акробатические фокусы с вознесением под локти над кольцом несчастных подкидьшей, перетягиванием в засадах рваных шнурков, избавлением от хромоты на запуске в галоп кентавров, зингеровский механизм штопал в ответ всё более слаженные строчки. В протоколе после перерыва значилось 43:44. И снова чернильная синева за окнами гус-тела и зияли зигзагами молниеносных передач растянутые фланги.

— Держитесь до последнего броска, — подзуживал Мейсон, — экскурсия на грани срыва.

Кому сверкнёт блудливая удача из бездны окончательных секунд? И загнанный в угол вызолоченный заводной павлин с торца Александрийского столпа, накрытый щупальцами рослых полиглотов, внезапно вздымает в белоснежных бинтах растерзанные крылья... Они пусты, мы в ауте, матч дан — и отступают в россыпь великаны, ломается обманутый конвой.

Осталось полмгновенья! И зажатый между коленями Будды мяч опять в игре, и вечность на прицеле, и тает на излёте солнечный жаркий шар, и медлит, длится до неясного исхода там далеко и в сердце где-то здесь наша по праву славная битва за честь.

Правила поведения

Однажды в среду директриса наша, Антонина Соломоновна, или попросту Мадонна, вызвала меня в свой облицованный сучковатой фанерой кабинет и вместо завтрака предложила покаяться.

— На тебе уже навешано полдюжины разных грехов, но они, к сожалению, несмертные, и значит покончить с ними сразу невозможно, — огорчился Никсон, — поэтому замри и наслаждайся. Говорят, для диссертации ей нужна фотография Предтечи. Не бойся, котлеты с макаронами я постерегу...

— Узнаёшь? — указала Мадонна на диван в красном углу, где лежал Макаренко, известный всему миру педагог. — Почему он такой круглый?

— Разряд шаровой молнии, а может, крупный град, — объяснил я. — Не надо было человека на клумбах по ночам удерживать. Вот брюки на ветру и прохудились! Хорошо бы ему уши и портфель отциклевать.

— Ну, так и займись. С меня 4 полтонны гипса.

Далее диалог транслировался по радио: “А если я не справлюсь?” — взревели коридоры. “Эскиз прост, как поза Сфинкса. Руки — отцепи”. — “Это усложнит художественный образ бюста. Где сапоги?” — “Были в моде”. — “Мы не одни?” — “Расслабься, соавторов от уроков я избавлю”.

Допив свой кофе и пообещав не жечь больших костров в саду ни днём, ни по ночам, я встал и сказал: “Тогда согласен...”

— Выбери — я или она! — затеяла разборку Васнецова.

— Конечно, ты, о его Муза! — воскликнули хором Дуб, Серый и Будда. — Мы будем месить раствор и стряпать кирпичи, а ты обдумай стрижку, педикюр и макияж. Вот тебе тушь и сахарная пудра.

К вечеру статуя была отредактирована с упором на предмет литературы из колоссальных, толстовского размера глиняных лаптей. Складно читался под твердью накрахмаленной футболки булгаковский клетчатый пластрон, в сумерках реяли густые бакенбарды тургеневского качества и сходства, искали бури в каламбуре босяцкие усы и в линзах затуманенных пенсне менялись русла беспокойных рек. Кумир был прозрачен и благосклонен:

*Приштопав ширь полей к туземной феске,
всех ближних нас возлюбит ли Господь...
Кто умыкнет ключи от хлеборезки?
Изголодалась мыслящая плоть!*

— Эко вас развезло, — удивился Мэйсон, — стихами заговорили.

— Эту педагогическую поэму надо установить на приличное место, — сказала Мадонна, — с научной точки зрения мне видится воздушная подушка. Во-первых, мягко, во-вторых, красиво, а в-третьих, как всегда, созвучно и пуху, и перу, и вообще.

От четвёртого измерения нам достался бич, бухтой намотанный на рукава халата. Пастух — это был Пастух! — нашёл приют в библиотеке.

— Она сама того хотела! — ловко увернулся Моисей Иванович от всполоха разящего кнута, когда в ответ на вызовы судьбы Антонина Соломонова обременилась мудростью в декрете. — Что ей до классиков? Они всегда правы...

А по садам разоблачались тени, и ветер нашёптывал слова, сладко отравленные лживой оболочкой, и над котельной содрогался вечерний дым, и задуманный в ладонях пепел бабочки смешивался с инеем хрустящей золотой травы, стлался по следу беглого трамвая, и замирал слепой вагон любви, немея от ужаса, если вечность есть где-нибудь в бездне сердца, тающей на излёте. Вся музыка — под клавишами шпал.

Случалось, пасторальный страж ну прямо вырастал на наших кривообразных тропах, топтался в смородиновых кустах аллеи или просто мерещился, ускользая из дождя в дождь с своей семихвостой плетью:

— Нет у вас веры в Бога, вот что я вам скажу! — И на досуге заставлял самых ловких отступников сочинять послания родителям. — Кропите правду, легче заживёте.

— Но ведь мы не ведаем, что творим, и значит, грешим не мы, а только души, оставшие в сопровождении вранья...

Как трудно накропать донос без пафоса на трусость, собственную жадность или злопамятство преданного и вездесущего конвоя, кочующего в раю перед шатрами яблоневых ветвей. И чтобы совесть мимо пронесло, как пробку, вышибленную из опечатанной сургучом бутылки!

И тогда бродячий идол свешивался с пьедестала, словно он действительный членкор Академии наших эпизодических художеств:

— Где тот конверт? И почтальона не найти... — и диктовал свои мифические, в меру соблюдаемые и незыблемые правила поведения.

Неуязвимый планерист

Издалека планер похож на комара, пресыщенного испарениями вентиляционных шахт; вблизи это измазанный смолой головастый змей, готовый вляпаться в историю с полётом, и если позволит ветер, дотянуть до Криворожского пруда и там воткнуться в безопасные сугробы. Осталось лишь дожидаться снегопада и бросить жребий: на кого падёт беда?

Будда вытянул короткую спичку и задумался:

— По холодам возможна и ангина. Нужны дублёры.

Главным дублёром стал Сергачёв, в запасные пилоты загремел Дуб, а мне из опустевшего коробка досталась слава, занозой выпорхнувшая в облака.

— Надеемся на резину катапульты, — сказал я, — она доставит вас в любой овраг...

И вот на рассвете 7 или 8 ноября над лысой кровлей котельной, где я смазывал маргарином разгонные лыжи, шестерни лебёдки и заодно пеньковый, выкрашенный охрой крешкий трос, внезапно пронеслось дуновение метели:

— Если он уцелеет, ты получишь всё, что хочешь, — заняли северные запоздалые ветры, — поверь обещанному, внемли и дерзай!

— Не мешай работать, — попробовал я отшутиться, — у нас, у воздухоплатателей, шансы выжить обычно не всегда равны нулю. Бывают и внушительные цифры.

— Тем более рискни, мир не перевернётся. И на прудах туман уйдёт под лёд...

Понятное дело, речь шла о феодальном коммунизме, кто-то зубрил учебный материал.

Ристалище под навесом разгрузочных ворот притихло, зрелище грозило стать казнью, снежные заряды раскачивали остолбенелый фонарь и конус его назойливо усиливал скрипучий плач весталок.

— Абстрактный бред. Но в каком именно аспекте? Он при вас?

— У нас больше и нет ничего, приходи ночью кроликов кормить, договоримся.

И пока Дуб в тулупе сторожа и Будда в подпоясанной эспандером телогрейке кочегара нахлобучивали на Сергачёва велосипедный шлем, последний гвоздь был вбит в помост — в трамплин из горбыля.

Время раздваивается, высекает на встречных трассах искры прозрения. Кто запалил дымовую шашку? Перерубил пеньку? Вооружил стрельца тупой секирой?

Планер взвизгнул лыжами и, вспорхнув над ареной для битв за передел чужих колоний, штопором ввинтился в пирамиду плака! Когда в клубах гиперболических страстей завеса отчалела, зрительницы взялись за лопаты и возвели над кабиной скифский курган для падшего ангела. Увы, там никого не было...

Ровно в полночь я очутился в предбаннике у зооуголка.

— О! Твой кентавр притопал, — услышал я сквозь забелённую дверь контрольно Тиганиной.

— А мы, дуры, думали, он в клинике, — удивилась одна из сестёр Гусятиных.

— Впустить или да ну его? — прошипела завучева дочка. — Решил проверить, тут мы или нет.

А куда им деться? И я вошёл походкой астронавта, подволакивая голенистопы, обутые в гипс и мейсоновы башмаки после затыжного прыжка с крыши в бокс с кратером лунного вулкана. В аквариуме урчал компрессор, и хомяки в клетках догрызали сухари.

— С чем пожаловал? — обернулась Васнецова, обмахиваясь веером карт. — Принёс морковь?

— Надеюсь, звери сыты. Меня привело сюда чувство вины.

— Каламбур! Сыграем в кости на его костях, — свесился попугай с пальмовой ветви на перламутровом когте, — ха, ха. Кости скачут в гости, каламбуррр... Дуры думали, он в клинике.

— Так вот о чём вы здесь трубили. Очень остроумно, — обиделся я, распечатав заряженную колоду. — Постеснялись бы голодных птиц.

— Он только что доел перловку, перл в томате. Только без шулерства, без козырей в рукавах — присоединяйся.

— И не слушай попугая. Пусть врёт, не для того мы собрались!

Это была странная, суровая и по всем правилам дурацкая игра. Всем хотелось победить, чтобы я ушёл, а когда мелочишься, по словам Наполеона, многое кажется крупным, как, например, мои бахилы, расставленные вокруг стола. В них-то и были спрятаны тройки и семёрки для перебора, если опять

окажется, что кому-то вдруг придут десятки на мои тузы. Манжеты мне Васнецова засучила от локтей до воротника и оборвала пуговицы — действуй, мол, аэрокобра.

Первой в коридор с погонами на плечах вынесло Тиганину. За ней, одёргивая юбку и роняя фразы в духе: “Откуда, в прикупе шестая дама?” — или: “Всё матери расскажу!” — исчезла завучева дочка, а там и сестёр Гусятинных отправило в изгнание моё неисполнимое желание, накрытое бубновым королём. Таким образом, барбусы, попутай и Васнецова — весь призовой фонд достался мне.

*Погоняй коней, возница, правь на замок из песка,
желтоглазая волчица нас уводит в облака,
снег по следу серебрится, и летит сквозь сон тени
бег коней моих, коней моих, коней...*

— Не надо было соваться в лисьи норы, мы в стоворе, — уверяла она, — ведь ты не волкодав.

И судьбы уходящих ненадолго смещаются в пространстве: “Я вернусь...” Взгляни в глаза, там ветер, и он чист, пепел алмазный в пустыне раззолочённой, и когда-нибудь они обязательно встретятся в лабиринтах учебного корпуса — тот странствующий поневоле рыцарь и твой неуязвимый планерист.

Обыкновенная измена

Всё это было осенью, а зимой мы плясали с шайбой на прудах, дотемна и жёстко тренируя футболистов, чтобы в столовой погордиться битыми лбами и ореолами подглазных фонарей и уйти в актывый зал страусиной поступью одереженевших в седлах всадников из “Великолепной семёрки”. Там пели вокалистки, и хормейстером при дуэте с недавних пор состоял узурпатор Сергачёв.

— Как вы гитары держите? Инструмент должен висеть ниже пояса, на уровне подкола, — командовал он, развалиясь в режиссёрском кресле, — изящнее двигайтесь. Скелетов не беречь!

— Зря ты возишься с этими Гусятиными. У них и слуха-то никогда не прорезалось, одни звуки, да и те без усилителя до Варшавки не дойдут, сопреют, — судил наш худсовет. — А кто услышит ваши голоса, тотчас лишится воли и покоя.

— Мне ли не знать! Но они такие разные...

Мы ошиблись. Нужны были слова — и он подобрал слова, искал мелодию — и она пришла сама, когда сёстры поочерёдно дули в хобот саксофона, извлекая из клапанов шумы и паузы сытно и ненавязчиво сдобренных Ливерпульским ливером прудеч. С чудесным привкусом винила, да — пришлось смириться, талант предполагает доброту.

И был апрель, пасмурный дым апреля, в какую-то субботу собирали мусор и жгли костры под самодельную эту музыку в саду, и надрывались соловьи, умело засвистывая долбёж въедливого магнитофона, выставленного на подоконник фотолаборатории, в краповое закулисье атласных штор. Вспоминается разлив тепла под солнечный сплетением, когда она приближалась с грузом в чешуе мха обнятых мёртвых веток, гадала, отклоняясь на сторону, куда ступить, смотрела вниз на глиняное русло серого тонкого ручья, выщегося в чёрной луже.

— Найди какое-нибудь дело, не следи за мной. Хочешь, будем белить яблони?

И мимо прошла колонна убийц невинных древоточцев с блистающими оцинкованными ведрами — Сабрина дирижировала лыковым помелом, Мадонна волокла мешок с известью, погоняя студию “бально-вокального мастерства”, выряженную в пачки и трико с джурабами, а во главе процессии, поддерживаемый под локти музами, вратарём и трубочистами из кочегарки, ехал на велосипеде сам филармонист.

— Любите ли вы гасить известь так, как это делаю я, — в корыте?

— Да! — указала Васнецова, усевшись боком на багажник. — Следующая остановка рядом, у помойки. Можно я дотуда поручю?

— Нелзя, — возразила Мадонна. — Но если планерист нас уважает... И если привязать этот матрас с белилами к седлу...

Кончилось тем, что я был послан на каток — катать асфальт на теннисной площадке. Разметку рисовал Дуб, а сетку ограждения штопал Будда. Они-то мне в глаза и начадили!

— Представь: иду как-то во тьме египетской, переступаю с пятки на носок, чтобы сторож кастрюлю с компотом спросонья не изъял, а они — понятно, о ком я, — затаились в холле за фикусами и болтают о своих платонических чувствах: “Жара, как в аду на сковородке, не батарея, а электроплита...” Раздвигаю листья — и что вижу? Холодны: диск луны, и вихрь, столб пудры! Заметь, старт точно такой, как с колеса сегодня.

— Не в оперу, но схожий эпизод. В ту памятную ночь ловили мы сверчков в оранжерее для пресноводных жаб и черепах. И вдруг в зарослях мелькает ведьма, за ней другая, третья: “Мы думали, он в поликлинике!” Легко предположить, чья швабра двинула их в бега без жалости и вздоха.

— Земфира неверна, и это плохо, — согласился я, — воистину грех есть. Но что ей до Платона?

— Эффект новизны, например. Кроме всего прочего, важны и габариты, база любви у каждого своя.

А тут ещё Мэйсон часть корта укатал под серенаду: “Сердце красавицы... как ветер мая...”

— Вызвать, что ли, этого Моцарта на дуэль? Сушите порох, Моисей Иванович, пускай судьба зачтёт нам приговор!

— Но как же немецкие каникулы? Оставляют за безобразное поведение на второй год — в Сибири живо повзрослеешь.

К счастью, берданка сторожа исчезла.

— Очень кстати, — рассеялась Васнецова, узнав, что ствол зарыт на чердаке, — страхни с души опилки, рыцарь...

И проблесками через всю жизнь мерцает жемчуг в розовом оскале, цветущих яблонь огненная пена. Кто знает, почему слова сошлись, зачем мелькнет в пустыне где-нибудь теней обыкновенная измена?

Немецкие каникулы

После Бреста переставленные под западную колею колеса постукивают бдительней, глухо отзываясь в фермах моста, закинутого за Буг.

— Войско польско уцелело? Уланов пруссакам не обогнать!

И пограничник возвращает паспорт, гербовый бланк вызова с чернильной блямбой — и швыряет два пальца к четырёхугольной крыше боевого картуза:

— Пше проше, пан, Варшава не сгинела...

Дорога до Франкфурта кажется невыносимо долгой, хутора среди картофельных полей ничуть не богаче белорусских хижин, но таможня с республиканскими орлами на клапанах чужих мундиров резко разворачивает состав на север, и пожарная борозда выпрямляется, провода перестают так глубоко нырять в орешник, и хромой “Трабант” с приводом на заднее правое колесо гудит из вырубок на переездах: “Недалека небесная верста”.

— Как добрался? — спрашивает отец, и танковая его куртка пахнет материнскими пирогами. Нас ждут.

Шверин по-вечернему пуст, и стартовав от вокзала, разъездной Газ-67 петляет в теснинах улиц, хлопает парусиной обтяжки и, словно листовые страницы истории двух мировых войн, сдвигает в небо куб опечатанного набрызг-бетоном собора, дворцовый Офицерский клуб, русскую школу в корпусах артиллерийского училища, госпиталь и смежный мемориал в громоотводных шпилях чёрных обелисков.

Слева брусчатка набережной внаклон сползает вдоль холма и открывает гигантское, до Висмара расстеленное озеро и насыпную дамбу к острову с гирляндами музейных фонарей, где отражённый в рябой воде зияет марк-

графский замок, окаменевшее чудовище, не тронутое фугасами бомбливых англичан.

И дальше — всё ближе из дыхания туманов выступает располованный просеками лес, и за провалами в буграх сонной равнины полигон с лунными пустырями и контр-эскарпами танкодрома: “Верboten!” — отпугивают туземцев деревянные, расстрелянные картечью строгие щиты на съездах. “Что именно запрещено? Прогуляться на мотоцикле за грибами, например, или пальнуть пару раз у тебя на стенде по тарелкам — тоже, получается, нельзя?” — “Это иногда можно”, — соглашается отец.

Казармы Автобата прерывистой скобой охватывают стадион и парадную площадь в заслоне дубов, чинар и тополей, срезанных вровень с вышками лабазов и хранилищ ГСМ. И уже внятен марш, хор ветеранов на финише выслуженных лет: “Под солнцем Родины мы крепнем год от года...” — и беспечален щебет птенцов апрельского призыва, высекающих стальными подмётками искры из кремниевго щебня, утоптанного на плацу:

*Я салага, лысый гусь, я торжественно клянусь
сало с мясом не рубать, старикам всё отдавать!*

Под барабанную дробь ворота распахнутся и фистулы флейт умолкнут: мы в раю!

Утром проснуться в гамаке, и павлины витражей скользнут из веранды под гофрированный бок стянутой обручами коридорной печки, улягутся на клеточный паркет гостиной, и выкатится, перья растеряв в отцовском кабинете, разболтанный и осевший на сдутых шинах солнечный велосипед. Качнуть колыбель — и снайперский зрачок калейдоскопа напомнит бликами искажений детский дом, убежище младенцев.

Солнце катится на запад, а приходит на восток, и я вижу сквозь жёлтый пух шпалерами стриженных акаций багровые спины потных пушкарей, тягущих шомпола с пыжками в жерлах пушек, синий столб дыма над ангаром кузницы, развод блистающего штыками караула, пыхтящий у сарая с брикетным торфом грузовик и курилку в ромбе лакированных лавок, где политрук чертит нерушимые контуры Союза. Куда влачит он посох ясновидца над пропастью в песке?.. Бог знает...

— Не по трюму судить конечно, — примерился спросонья суконный китель, галифе и яловые сапоги плюс кухонный тесак за голенищем слева, — немчура зауважает!

— Присягу можно схлопотать и ложкой, — предупредил отец, — поменьше форса, тут не Сан-Суси, майн фюрер.

— Не горбись и сними полковничьи погоны, — скомандовал материнский голос. — Спесь солдафону не к лицу...

Разжалованный и нагруженный снопом удилиц, в полдень я выехал к озеру. Лес расступался и смыкался, велосипед встряхивало над рёбрами корней, перекачанные шины елозили в колее тропы и в развороченных окопах мелькали по сторонам пулёмётные станки, лафеты минометов, чуть тронутые ржавчиной лобастые вермахтовские каски с коронами кожаных подшлемников и плесенью, ползущей изнутри. Кривой ручей всхлипывал в овраге, и мерещилось, что это чавкают в глине кабаны, приручённые егерями в месяц май.

— Другой войны не будет! — перекликались с рулевым звонком чёрные пучеглазые противогазы.

Солдаты ошибаются всегда.

Дикая лесополоа взбирается на холм и валится по уступам взлохмаченного ежевикой серпантина к необъятному озеру, к рощам южного залива, где обводкой в дубовые плахи вправленный канал лоснится чешуёй кипучей верхоплавки. И зыбь чеканит римские монеты настоянных на торфе карасей.

Город затаился в омуте за мысом, никто не видит стражу в бойницах замка, не ловит в солнечные сети битую черепицу тлеющих окраин, шпиль собора и кресты антенн затопленного в синеве Шверина. И дремлет в низине подмятая обрывом пристань, теснится к устью шлюза стройная часовня, мельница и одинокая лодка на цепи и без замка.

Пустыня ублажённого безлюдья — совсем как в кабинете у отца в подробностях на штабном макете с пятнами обрызганных зелёнкой парков и урочищ, йодистых болот и выкройками шахматных полей. И крепость Автобата на три роты, сверкающая тьмой колючих звёзд!

— Парус морскому волку нужен? — выносит мельник вёсла. — Был бы ветер.

— Доннер ветер, — отдаю я патронташ с заказными латунными гильзами редкого 24-го калибра, — их мехте швер дредноут, вольфмарин.

Чем меньше болтовни, тем правильнее мы друг друга понимаем, можно и без слов счищать репей, нахватунный в бурьяне спуска, — пусть говорит старик...

И я слушаю, как плещется колесо, взведённое черпаками водосброса, наваяясь на шаткие перила, часами слежу за стадами красноперых окуней. И в жутких водорослях вкапываются в ил бревенчатые, тронутые острогой, отупевшие от счастья щуки: вот они, зимние бесплотные мечты, растравленные ходкой, высмоленной варом плоскодонкой с причальной цепью в сердце мукомола.

*Ах, зачем, ах, зачем
проплывают века,
собирая солдат
нулевого полка?*

И глаза его, словно гравировальные иголки, впивались в меня так, словно он молился на пластину льда, растаявшую далеко от Родины на Волге.

Закат меняет снасти на мачтах опалённых сосен, и духовой оркестр играет сбор в казарменных аллеях гарнизона. Там я гуляю по вечерам, сдвинув на лоб пилотку-невидимку, в свежей рубаше и в шлёпанцах, подбивающих на марше пижамные интернатские штаны. Европа не Европа, а русской пехоте выправка нужна! И под сухое щёлканье шаров, загоняемых в лузы клубного бильярда, в щетине газонов кувыркаются самбисты, терпеливо перенося укусы осоки или муравьиных жал, в спортказемате гремят железом усыпанные тальком штангисты, наращивая к штангам неподъёмные блины, и тархатят перчатками по грушам неуёмные боксёры, а отзывается над стадионом грозный, морковного цвета Марс. Разуйся, пни этот мяч, но так, чтобы он вырвал клоч пеньковой, распяленной на воротах сетки — и ты уже не франт, а футболист!

И в библиотеке вдруг задышит, вольфрамом ламп иссушит жар ланит визави осеннего призыва юнкер Пушкин, писарь Достоевский и артиллерист Толстой. Бог есть, а если нет — кто же там пишет письма из ГДР в Империю, домой?

В 9 часов по батальонному времени на континент снисходит тишина, свищут лишь соловьи, имитируя виолончели офицерских стульев в клетке обвитого люпином летнего кинотеатра. Свободных табуреток нет.

— Сапожника на мыло! — рошнут ряды солдатских лавок, выстроенных в сидячее каре, — включай вентилятор, резкость смыло.

— Курили бы в рукава! — путается с бобинами киномеханик. — Чадить в экран махрой запрещено!

И дробятся в гофре мембран складских ангаров динамические подголоски красавиц, ведьм, пиратов, палачей, героев, Мефистофелей и принцев, рокочет музыка над шифером хранилищ ГСМ, и в паузах на смене десятиминутных лент звякают и вкрадчиво булькают крутой заваркой остывающие фляги, и сапожных дел маэстро опять вырубает электро-лампаду на шнуре, будто гасит луну, подвешенную на пожарном шланге и погружённую в мосфильмовский сюжет, укомплектованный печалью разлук и свадеб, битв гладиаторов, пожаров и пустынных миражей с повесткой уходящим вдаль: “Распяты их!”

Наличие ада придаёт смысл жизни даже грешникам в раю.

И всё там по-детски чёрно-белое, своё и почти родное, продлённое туда, где эха нет и где так дружно хлопнут у лейтенантских жён беззащитные зонты, когда покажется, что это звёзды брызнули, а дождь не начинался.

Ночью лодка с клином паруса исчезнет в стороне канала и тысячу раз дрогнет наискось в омут сна уведённый поплавок. Бредом обернётся пурпурная пена, с крапами подгнившей валлиснери и студенистой тускороры в хрустящих жабрах всхлипывающих в садке лещей.

Что вышестует из сотни беглых дней впряжённый в колесницу венценосный август? Мотоцикл, в токах тепла заглохший перед рвом водозабора, туманы в тропях скошенного вровень с пристанью иглистого тростника, и торфяные острова, и башни замка, цепью огней прикованные к дамбе, куда врасплеск осаживались кочевые утки на перепонках шлёпающих по ряске троесперстых ласт. И как отец приучал меня к правильной охоте, вращая над углями ножом выбритую, насаженную на шомпол тушу свинья:

— Нельзя стрелять по цели на плаву. Когда-нибудь обернётся рикошетом такая неразборчивая дробь.

— Можно пальнуть и наугад, мечь ничего не значит, — всматривался я в зулевские, уязвлённые пороховой гарью серые стволы, и виделась там будто стая полуслепых подранков, собранных из Талдомских болот.

— Этого нам не надо, — повторяет он, и каскадами от кубической глыбы собора над чашей озера разносится органнный, из семи нот составленный безумный отзвук, вмещённый ангелами в безмятежный круг. Другая академия заоблачных наук...

И я уходил к загонщикам хлестать еловым лапником заспанных, пресыщенных желудями обалдевших кабанов. С плетью в чехле, без вычищенного дробовика и в свойском камуфляже. По крайней мере, страсть здесь была оправдана, горн ликовал: мы были равны!

И помнится тяжесть угольной корзины, рывком вскинутой на плечо под сводами бомбоубежища, обвешанного гроздьями летучих упырей, их плакучий щебет в УКВ эфир об ужасах глухого мира: “Мене, текел, фарес, мы жертвы Валтасаровых пиров”.

И ход рысью мимо офицерской компании, после воскресной русско-германской дружбы играющей в курилке в отрезвляющее домино:

— Стоп, истопник! Присоединяйся, — и ржаной вкус коричневого пива ростокского разлива в мелких бутылках с фарфоровыми пробками на проволочных рычагах. Чистейший квас!

*Нас извлекут из-под обломков,
поднимут на руки каркас,
и залпы башенных орудий
в последний путь проводят нас...*

И зарево над городом, цветастые за полигоном гирлянды салютующих ракет с приветом Автобату от гаубиц иноплемённого дивизиона: “Арийцы уважают евразийцев. К чему сомнения? Их нет!”

Дома дым из колодца выложенных в руст на колосниках брикетов вытянет колониальные оазисы папоротников и отпечатки сплюснутых хвощей, и сквозь орнамент дна ивового короба пеленой угара вспыхнет в глазницах ящуров плазменная глубина. Мудр и беспечен зуд янтарной эскадрильи, штурмующей атомные бусы, засыпанные в солнечный плафон: “Жизнь — цепь случайных совпадений, второй любви не надо мотылькам...”

В среду бригада Москонцерта воздвигла на стадионе балаган по-македонски.

— А может, по-индейски, — заметил повар, — весь бундесвер, элита ФРГ!

В программе значилась нанайская борьба, танцы с кинжалами на куче стеклобоя, фокусы с керосином вплоть до извержения огня, массовый гипноз, тотальная раздача внеочередных нарядов и укрощение кобр кордебалета и удава, наступного клоуном в каптёрке, в самоволке. Он думал — там буфет. Чем валерьянка хуже брома? Поиск каптенармуса, ставшего кроликом, переместился в штаб, к ориентирам щучьей икры и клоквенного спирта.

Солдаты уже спали, когда банкет был прерван воем сирены и дребезгом полушарий электровонка: “Рыбный четверг отставить, раздать патроны,

круглый стол закрыть!” То был посыл Главкома из Потсдама. Рёв боевой техники потряс воображение вампиров и мышей, очнувшихся в подполье. Поднятый по тревоге Автобат восстал и вышел в ночь.

— Учения, и не более того, — поймал радист три бдительные точки, — не посраим штыки ГСВГ...

И на глазах павших на колени гостей армада скрылась за холмами танкодрома. Вспаханный лязгающими траками горизонт померк, и на распутье где-то обрёл координаты край земли, встали стеной другие перевалы, звёздная пыль, уступы снежных гор.

И никому знать не дано, что видит оловянный барабанщик.

*Не вернётся обратно ни молитва, ни клятва,
на воздушной дороге, далеко на востоке
облака и знамена — это наша колонна,
посмотри на небо — с нами Бог!*

Крадётся ли осенняя прохлада по отрывным листам календаря, павлины ли гелиотропные промокли, слетав на переправу через Буг... Эх, сборы, эти сборы! И материнские заботы: “Арменал достанется таможене. У Польши лисий нюх”.

Пришлось, по отцовскому велению, расстаться с бельгийской ракетницей непонятного калибра и заодно вернуть мельнику пехотный Люгер в сандаловой прикладной кобуре.

— Пока Самсон вращает жернова? — переспросил он и предложил взамен клинок с ромбической рукояткой. — Месть филистимлянам.

Не поместился в сундуке и корт, укатанный минным тралом для дочки коменданта полигона.

— Что ж, уезжай, — взвился лысый мяч на резаной подаче. — К чему слова? Они известны всем.

— А вот я возьму и выучу турецкий! Сам Пушкин некогда хаживал в Арзум.

— Зачем Шверину турки?

Дельная мысль! И вздрагивают на лиственницах слюдяные лепестки, будто мелькают за лесопосадками эфебовские шапки с волчьими хвостами или не гаснут скифские костры, растрёпанные всполохами дыма...

И в стыках рельс предсказанно и глухо пульсируют бескровные узлы, эпохи славной русские предания, немецкие каникулы.

Повестка уходящим

Сентябрь на старте. И снова для питомцев интерната играет заказной оркестр. Все окна главного корпуса разъяты и стоглавая гидра нависает над карнизом с парусной растяжкой: “Ученье свет, найди свой путь, источник знаний не забудь!” — и Мэйсон, будто вкопанный на клумбе в смесь опилок, торфа и песка перед шестиликим литмонстром, мнёт резеду. Мы держим корректуру:

*Не глаза, а оловянные рубли,
на пертах не бриллианты — бездна звёзд.
В золотом тумане скрылись корабли,
и растаял сладкий дым твоих волос.*

— Соавторство — наша общинная беда... — задумчиво переставляет Моисей Иванович холодные по осени слова. — И пусть плывёт, махни ей вслед фуражкой.

Флаги легучих сухогрузов видятся нам за трубой котельной. Но там лишь очередной трамвай мучает душу брэнчанием трёхкопеечных монет, и пуст на сцепке прицепной вагон, и на подаче — механическая скука: бросок, крик с разворотом в хлёсткое кольцо, щит содрогается, и лето по траектории Криворожского проезда дробится на необитаемые острова под радугой на горизонте с крыльями жар-птицы. Где она была?

Вечером за решётками спортзала отдыхает тишина, и мы бродим по периметру придушенного крапивой сада. Накрапывает дождь, и вощёные яблоки блестят в тоннелях с чёрными стволами опор, расколотых тяжестью мшистых ветвей. И отсыревшая гитара дребезжит.

*Садовое кольцо — двенадцать вёрст,
поехали красотка, покатаю,
мне кажется, среди кабацких звёзд —
святая ты, святая ты, святая...*

— Выпей портвейна, — встряхивает флягу Дуб, — отсюда до Кракова все дамы одинаковы.

— Пора к костру, — подхватывает Будда, — время обнаружит, что кроется под складками коварства.

— Мне вы предлагаете уйти в загул, а сами думаете о своих матронах...

Кого могут согреть мыльные оболочки радужной луны? И воображение рисует сидует марионетки, цапли на 5-дюймовых каблуках, вздёрнутой стропами выюнов, нагих стеблей. И рядом Демон, сотканный из молний. Не сей, развей ты солнечные капли, закат их пылью обернёт.

— Кто скажет наконец, где Серый! И Васнецовой вроде бы как нет...

— А ты будто и не знаешь. Теперь у них три разных букваря, наука по неволе.

— Представь, перевелись к лингвистам.

— Что вы несёте? — на секунду притворяется ежом мерцающая аритмия сбитого с толку сердца. — Не поверю никогда.

Неделю я сидел на молоке, ел мясо с фруктами и отмечал на костылях уколы,

— Смирись, — требовал Моисей Иванович, — зачем гуманитарии травить кислотой фольгированный гетинакс? Призвание подобно укусу энцефалитного клеща — оно неумолимо!

— Табула воспитанника нашей школы для меня священна, рок поразит пропащих беглецов.

— Нам полиглоты не родня, — щипала виноград Сабрина Борисовна, привнося в меню горох, шоколад, кисель и макароны. — Диагноз фельдшера рассмотрен педсоветом. Пиявок хватит только на два дня...

— Сомнения одолели, — жаловался я Мадонне, упиваясь рыбьим жиром, добытым из эстонской банки шпрот, — лежу и думаю, в чем смысл любви. В душе он или в теле? С каких лекарств меня так разнесло?

— Выписать его! — возмущался сторож. — Нехорошо бродить по крышам при луне. Тулуп не по сезону.

— Ищет, откуда сбросить лишний вес? — гадал Дуб.

— Высота не позволяет, — сочувствовал Будда. И это друзья? Трагедия комедиантов дель-Арте.

А прошлое отодвигалось, сад золотой тускнел, и в стёклах рассыпалась листва, зола безадресных конвертов: “Не забывай...” Нет, я не забываю. Сейчас там дождь, и светятся сквозь годы летейских вод пустые зеркала.

Мы ещё встретимся на ярмарке Арбата, скрашенной сменой эпох и чехардой генсеков... “Ты ли это, Будда?” — и коробейник училища искусственных художеств вскинет берет, отороченный леонардовской панбархатной тесьмой:

*Бывало, пот или слеза
стечёт с купеческих зальсин —
и снова шума нет из-за
железных наших закулисин.*

— Купите кошку персиянского помёта. В этом животном есть менталитет, удивительнейшее свой-ство инте-лигента современного разлива.

— Она жи-вая? — Раззаикались зеваки, опера по валюте и по талонам на водку и табак. — Пройдёмте в КПЗ, подлечим от холеры, лишняя клизма дезавуирует насморк, гипервитаминоз, охоту к переменам и чуму!

— Нам не нужны врачи. Мы из фарфора.

И — чудо! В недрах подворотен взбесится сквозняк, обременённый столбняком, и в прорезь в проблесках монетного трезвона устремятся менялы, мытари, посредники, подставки, биржевики, банкиры, политологи, фигляры и шарманщики свободы, новые бояре, филеры и кроты.

— Это наш спорт, — вывернут недра тайну окаянной погремушки, — собственность священна, и грушу вашу трясли не мы, поэтому приберите под собой, не разбазаривайте народное достояние.

Процветал в те благом обусловленные годы и Дуб, настойчиво преследуемый химерами успеха: аспирант МФТИ, начальник сектора дефектоскопии ИФЗ, инспектор ТБ эксплуатации АЭС, автор монографии “Теория катастроф” и, наконец, — директор НИИ где-то в Протвино, почтенный ученик в окаменевшей даче...

Уже мы подались в бомбилы на извоз, а он блистательно вращался в интеллектуальной мясорубке, в битвах с шайками зомбированных экономов и бандами арендаторов, спрессованных в клейкой скорлупе расхожей новизны. И счётчик Гейгера ритмично считывал его путь к подножию Припятского саркофага. Позже Орден Ликвидатора отметит и отделит его от тех, кто рылся в требухе казны с победитовыми свёрлами. Раб стал совладельцем мечты.

И снова тлеет ночь выпускного бала, свечи излучают нити пульса, и сквозь воск паркета заглазно выступают наши близнецы. На лестнице нет никого, один с неугасимой трубкой дремлет в кресле вещей Моисей Иванович: “Никто сюда уж не вернётся”.

О чём старик бормочет, и кого мы ждём? Путеукладчик с грузовой лёбёдкой давно отстал от вечного трамвая. Наверно, движение в Криворожском туннике было перекрыто только до рассвета, а оказалось — просто навсегда.

Лет через двадцать эпоха округлит взаимный перехлест десятилетий, и глинобитные лабиринты, сокрытые кипарисами, виноградом и айвой, впишутся в афганский праздник месячной командировки.

— Чайяния застольных крыс! — порадуетса Москвитин, испуганно следя за тенью Антея, рыскающей по отрогам Гиндукуша.

— Не вляпаться бы в затяжной прыжок без парашюта. Это огорчит дирекцию Литфонда.

— Чем больше риск, тем меньше творческие муки, ведущие беллетриста из ада Поварской в армейский рай, прямиком в окопы.

— Там наши очерки не пропадут, чтецы найдутся.

— Панама из газеты — прекрасная мишень, — уткнулся Москвитин лбом в иллюминатор, — слова любви неуязвимы...

— И графоманам Божья милость, благодать, — сказал кто-то, когда наш ангел с рёвом вывернулся на посадку, и складки снежной простыни окутали лик рыцаря, выцарапанный обломком шпаги в гончарне ассирийского жреца: шоры седых висков, ключущий птичий профиль и взгляд подслеповатого ясновидца на город, искажённый миражами лачуг, мечетей, злчных лавок и дворцов.

Разбавленный верблюжьем молоком туман аэродрома осложнил позиции уставной литературы, застрявшей в упаковочных сетях. Трап рухнул на помост, и мозолистой походкой охотников за караванами мы вышли из мрачного трюма в зной, в строй собранных для перекладки новобранцев.

— Где тут у вас штрафные батальоны? — спросил Москвитин.

— Свободных мест на гауптвахте нет, — ответил повар, — прошу пройти в буфет. Графин холодного компота скрасит досуг, не утоляя жажды, пока не прибудет прокурор...

Нас приняли за беглых арестантов.

Навьюченные тюками с униформой, почтой и медициной, разъехались грузовики, затмив весь горизонт угарной пылью. Или вечер примерил чёрные очки, и мы отперились в столовую, стараясь не ступать на вихри песка, где рылись ящерицы и извивались змеи, завербованные нуждой на ловлю содержанок в норах пищеблока. Мыши сомнения — что же они грызли в той стороне, где ты не побывал?

Надеялись увидеть во льдах громокипящий океан, мерещилась битва за честь Непримиримых станов и в безднах затаённая война с фугасами на выброс сверх программы. И что же нам подкинула Москва по своему приказанному плану? Лишь марево над щебнем взлётной полосы, шахматный караван-сарай бараков, кумпол в бризе забывшего про бури ветряного клобука, шлакбаум и бойницы блокпоста, налитые глухими сквозняками и мыло трафаретных лун над дальними жердями минаретов.

И сварщик в маске, в декорациях сумрачной мастерской, меняя электроды в трёхпалом держаке, неумоимо сращивает швы на жестяных коробах, синееющих от плавки; ртуть брызжет в краплённый дробью окалина пессок, лёгкий дым желтеет, проволочная сетка выгородки истлевает, и золото волн стихает, исчезает, исчезает...

Никто уж не шаманит над расшифровкой азбуки радиста: “Здесь торопиться некуда, Вас ждут”, — и вдруг медлительная официантка с медными глубинными глазами извлекает из клавиатуры кассы лирический пассаж на тему расставанья и расплаты за компот:

— Спасайтесь — конвоиры у ворот!

Восточный блеск базара пёстрого, верблужья шерсть горбатых переулков и вскрики зывал из подозрительных витрин пушных, москательных, фруктовых и бижутерийных лавок, высланных багровой чернью растоптанных до пролысин в ворсе вековых ковров, и наш с клёпанными крыльями безбамперный УАЗ, лязгающий обрывком буксировочного троса и выхлестывающий искры из бордюров и колдобин, из встречных тойот и мулами запряжённых телег — вот все аттракционы ознакомительной прогулки по курсу светофорной карусели, распатанной вразброд и наугад.

Раздваивалось вытесненное солнце, в полнеба и неведомо когда, змеиной лентой на хребте Европы ползла колониальная орда, оба потока отсвета земного, бесплотная река иных времён.

И словно оперением жар-птицы, в кострах набегов разметались облака, и пожар заката отделился от зарева взвихрённых гирлянд оазисных фонарей над королевским замком. Заслоны караульных будок вывели нас на армейский штаб, в кущи с фонтанами, клумбами и грядами подстриженных секирой полумесяца люпинов и магнолий.

— Вам нужен лазарет или банкет? — спросил шофёр, осадив свою трясучую колесницу возле тумбы с дирижёром, воткнувшим шомпол в правый верхний угол нотного листа. — Подзасиделись? Фронтальной синдром, осталось выяснить, работает ли карцер...

И тотчас грянули пронзительные флейты, и грубое славянское “Ур-ра!..” заглохло в мерной поступи охранных рот пехоты.

*Дым черёмухи ползёт в ночной овраг
на крови и по следам простых бродяг.
Ну, а вам какое дело?
Пуля та, что песню спела,
объяснит кому-то, друг он или враг!*

— Однако журналистика в чести... — молвил сметённый с пути колон и пылью поперхнувшийся Москвитин. — Парад могли бы и перенести!

Эхо оркестра ускакало в горы, и автоматическое, словно на ассирийских фризах, торжественное шествие сомкнутых шеренг распалось по окрестностям Кабула. Впрочем, если не думать, правду говоря, то было построение на ужин.

Выданное наутро солдатское обмундирование уточнило боевые, рождённые в каптёрке у зеркал, планы на август, фирменные планы — с первой строки заглавного листа быть честным, как Лука Евангелист в растрёпанном блокноте! И не расшить ли золотом погоны?

— Нет, — возразил майор политотдела. — Бойцам дух Бонапарта ни к чему. Снайпер заметит — живо нафранцузит!

Так мы попали к чтецам в агитбригаду чеховского МХТ, затем с обозом продовольствия в Газни — узбекский рис, тамбовская мука и киевское

сало, — и далее в ездe на подогретой любопытством ледяной броне по пунктам скомканного списка; за перевалом — пропасть... Что блистает самоцветами на дне? Сточенные штгики британской экспедиции, паучья рама бензовоза или пульс креста в оптическом прицеле, отсчитанный недрогнувшим стрелком... В обрывках памяти все свяжутся узлы.

Заснуть у костра в валунах под механический бред зевающей радистки и вдруг очнуться в отеле “Континенталь” в кулисах балдахина, нащупать под подушкой прохладный пистолет, отречься от обеда и прямо из мраморной ванны с пластмассовыми подделками вызолоченных вентилях перенестись в распяленный на миномётных трубах брезентовый бассейн с парной водой, настоящей на колыхающихся над пустыней звёздах. И на марше утром примерять подаренную десантурой каску взамен тюрбана, пинком отправленного духам за дувал:

— А как же вы без лишней головы?

— А мы найдём другую...

Кундуз, Логар или Герат — где это было? И, свесясь с седла нанятого за персидские гроши прогулочного мула, болтать с рыночными кузнецами, не торгуясь о цене прекрасного кинжала, которым ты будешь вскрывать, слепо уставясь в законный мрак Арбата, кромсать конверт с прозрачной воющей Гардесовской, в палатке рассмеявшейся радистки:

*Нет печальнее картины — на штаны излив бальзам,
креативные кретины хлорку месят по тазам,
и над Сколковым, вбок скоком, опыляют хромосом
Дарвин Чарльз с чертополохом и Мичурин с упырём!
Как слышите, что пишете? Приём, приём...*

И время глушит лязгающий ход мотопехоты и вертолёт, в переломах курса стерегущий обозначенную гарью, рыскающую в скалах трассу, оправленную чеками рисовых болот, где восставшие илоты не сдаются, вымаливая у Аллаха венец судьбы, достойный вечной славы.

И тянется в ущелье высеченная по шаблону мгла дымной завесы солнечного диска, скошенного на вираже форсажем его рваных в рубке лопастей. Что обещает истуканам Бамяма борт с номером Баграмского полка? Подранок обязательно найдётся...

*По своим метелям тьма разведана,
белый свет поделим — кончится война.*

Ещё осталась в ранце фотоплёнка и холодок в груди: прощай, Гардез...

В Логаре изрытый траншеями гребень холма со штабными блиндажами немо торжествовал. Мятежники ушли из муравейников в киризы, в ад свой, и на картах между синих стрел в мире уживались розовые пятна.

— Алювий и деловий, — втоптал Москвитин в бруствер мундштук трофейной, добытой у саперов эквадорской сигары, — полный комплект осадочных пород.

Правила поведения в окопах не позволяют бестолку сорить.

— Взгляните в перископ, — предлагает начальствующий за спиной неведомо чей голос. — Что скажет русская литература на предмет отвода сухопутных войск? Море забот, сё нон э веро, э бен тровато.

Мы обернулись — рядом никого, лишь семь полковников за мохнатой сеткой в солдатских буплатах вылавливали из наушников радиоволны, насыщенные хаосом шипящей тишины. И глубоко внизу, на плоскости гигантской котловины, упорядоченно заполненной шпалерами танков, тральщиков, самоходок и монстрами артиллерийских тягачей, вяло догорали предзакатные малиновые костры. Жгли снарядные ящики, но мерещились в отпотевших окулярах стрел кремниевые наконечники и бронзовые топоры...

Наконец в слезащихся линзах искры отпелели, или сигнальные ракеты согласованной расцветки разметались над ареной сонного вулкана, и сороковая армия стала отходить, будто распяленная скрепами воловьша шкура, тор-

ба сыромятная выворачивалась наизнанку и сдувалась. Тысячи моторов на регистрах воющей волынки свелись в органичный зуд, и враскачку, хлопая потасканными тентами прицепов, уполз в распадок тыловой обоз, подгоняемый бронетранспортёрами с пехотой, промчался дивизион пушкарей и арьергард кивающих стволами на ухабах приотставших танков. Мелькнули за штриховкой дальномёра пешие стрелки охраны с винтовками, обмотанными разлохмаченным тряпьем, и на запоздалом старте мотоциклист, заливающий в бак бензин и озирающийся на командные высоты. Когда прикрытый тойгой из ивановского кнопа он закурил и удалился, долина опустела.

— Не поздно ли выступить и нам? — спросил Москвитин.

— Догоняйте, — последовал приказ, и прихватив рогатую улитку с треногой в коленкоровом чехле, мы углубились в расщелину с тропой в терновнике.

На чьей ладони Парки довьют веретено, всеведущему Богу безразлично...

Внизу у заведённого Т-72 главком Кондратьев, старший генерал, кормил из котелка свою овчарку:

— Чуй духов, Ника, чуй.

— Так она видит, что свои, потому и не рычит.

— Ну, ладно, ладно. Загружайтесь.

О, гусениц скользящие подковы, стальные с перезвоном стремяна! И в сёдлах из одеяльных скаток, холодный расстегнув бронезилет, плыть бы и плыть сквозь зыбь пустыни, в семи кругах, распластанных луной.

*Ну, а если, а если
допоёт пуля песню,
честь и долг — наша слава,
пропасть слева и справа.
Ах зачем, я не знаю,
пыль звенит ледяная,
посмотри на небо:
с нами Бог!*

Следом угасали зрачки бойниц и башенных орудий, снимались у мостов окаменевшие заставы и рассыпались в скобах плитняка вразброс открытые пещеры бастионов. Чьи души там терялись, оставались, теперь ты не узнаешь никогда, под дулами бедуинских карабинов, мечтая от Логара до Кабула добраться до казармы, найти свой угол, выпить водки, и сколько можно — спать, спать...

Мировоззрение на таком скаку меняется мгновенно, но лишь в пределах совершенства с газетной вялостью разрозненных тьмы слов, и Бог здесь никому не верит, на ущербе солнца пружиной поджимая к перевалу сборную колонну, влача из древности пострадавших границ Союз и его шагреневую карту, запавшую на траверз беззвучной тени заблудившегося вертолёта. И в облачении Икара неуязвимый планерист витал над колыбелью серого тумана, сверяя с радиопомехами истоки эха, бряцание внахлёт рессорных рычагов и траковых стержней, скрежет фрикционов и хруст в древесине на спусках катковых шин, шквалы трассирующих зарниц в кимвалах отдалённых перестрелок и спорадические хороводы в жажде зрелищ закамуфлированные под нукеров Ахмат-шаха огородных жаб, брыкающихся в ложах из маисовых стеблей.

— Музыка движенья, услышь концерт, Аллах! — переждав визг самодейательной трёхдюймовой мины, запущенной из аула за оскаленной грядой, разговорился Москвитин. — Мажор мой глух, минор совсем контужен.

— Если понадобится, запоёт и Бах, — откликнулся Кондратьев.

— Продлите нам командировку до Фиалты. Доскачет до индусов Буцефал? Здоров ли Македонский?

— По мне так лучше в Ялту по асфальту. Генштаб на Фрунзенской сосредоточился на обороне, траву жуют соломенные кони...

Мой Бог, они ещё смеялись! Куда вела в извилинах дорога, где залегла страны моей стрела? Путь её необычен, и спутница она неверная, обычно

венная измена с кинжалом в спину зрела в льдах Саланга, в белых тюльпанах с коричневыми пчёлами, пьющими яд и мёд на пике февраля. Над Волгой спят прозрачные метели, и мы уйдём за листьями в метель.

*Никто не знает часа. Но когда
растает снег, и в грудах изумрудных
прильнёт к груди колючая звезда...*

Сентябрь не может продолжаться вечно, оглянешься — все ведьмы в ступах и потные балерины в пышных пачках отплясывают свой канкан балаганного репертуара, во весь свой с лунной изнанки опилками декорированный лживый экран.

Мораль от Лафонтена вытоптана — в баснях!

Опять в повивальной книге судеб отметится аэродром, притихший после рейда лагерь ВДВ, хутор хозблоков и шатёр под шифером, уют отпускиков и пилигримов ГРУ. Гул в улье упарился, и никто уж не маршировал гусиным шагом перед завалинками медицинского барака с медсёстрами в туго расправленных на коленях юбках. Зря разбухала сочная малина, не проникал под сердце холодок из ниоткуда — о Союзе грешил караван-сарай.

Утром туман спустился с гор, будто раскуривая кальян с махрой из дряблой конопли, или сверкнули сточенные басмачами плоские штыки — и рейс Антея придержали.

Москвитин донимал аккумуляторчиков спиритическими сеансами с преобразованием жидких сред в устойчивую фазу:

— Итак, закладываем в бак ведро забродившей сахарной свёклы, включаем примус, и через 22 минуты вместо дистиллята на выходе получаем средство для расширения сосудов. Хотите — пробуйте.

— Неужели спирт? Можно ли использовать другие овощи?

— Да нам хоть фрукты. Что в химии главное?

— Продуть змеевики!

Уж солнце воздвигало эшафот в привратничкой рабочей зоны, и жестянички правили киянками зазоры, источая пот лица над покровом трафаретного железа, когда из размашистого веера тепловых ракет свалилась, впиалась когтями в гравий пучеглазая, с латаными рёбрами стрекоза. Скинулся трап, и стремительный майор вразминку обежал квадрат забора, ошибочно козырнул и аккуратно, словно игрушечную бомбу, извлёк из подсумка мятую гильзу ДШК:

— Прошу оформить сдачу и приём по форме вот такого документа, — и встряхнул на ладони капсулу с комком золы. — Думали, он живой. Дотронулись — рассыпался...

— Просто пепел? — протрезвел Москвитин. — Начальникам видней.

— Не понимаю, как он вытолкал меня, — подошёл второй пилот, — и рука, чёрная без перчатки, тыкает в плечо: “Я догораю, догораю...” Кругом огонь, и больше ничего!

Не видел он ни пережатой смуты в лощине ледниковой балки с пеной остановленного перекатами ручья, ни сам ручей под настом обгоревшей ежевики, голой глицинии и пунцовых в саже тускорор. Не слышал осторожного подхода повеселевших после спуска на канатах Бамамских егерей, их вздохов перед дюралевым скелетом осевшего в канкане вертолётца, распятого крещением лопастей. “Топливо на нуле”. — “Эрэсов в гнёздах нет?” — “Огненный ангел...” — “А кому-то Зевс”. — “Потянуло к бесам”. — “Сам нарвался”.

На другом берегу в вязаных и по-басурмански закатанных на лбах берегах стихали, склонясь над перламутром замасленных волн, устилали колыбель свою длинными до пят рубахами безмолвные абреки. Они лежали, обнявшись, словно братья, с тубусами разряженных гранатомётов и упиались алой тьмой в рябой воде, заполненной золотой и сказочной форелью.

— Что они искали? — Вспомнились вдруг немецкие каникулы, лес, озеро и облака, и лодка над косяками невозмутимой рыбы, тускнеющей у береговой черты.

— Ростов загружен, — отдал майор портсигар с лебединым клином в оттиске мельхиоровых небес. — Заменяем адрес? Бланк есть.

Крышка отомкнулась, и время ослепляюще поджалось, изморозь проявилась в оперении пропадающих без вести оранжерейных пальм в чужих садах, в испелённых глазах. Фотография, сложенная по линии надрыва пополам, зияла глянец. Имена не совпадали?

— Сделаем, как надо, — наобещали сварщики, разлив по кружкам лиловый спирт, — стружек добавим, гильзу запрессуем. Пусть успокоится его душа.

— Должно стать, в замысле Создателя пристроен мир, а не травля или спокон веку двухсотая война, — обошёл Москвитин кордон смоляных, складированных для просушки досок. — Колодец не имеет дна. Где же тогда здесь русская дорога?

*Они проходят в сумерках заката,
одни среди теней воздушных ив,
и слышится утерянный когда-то
далёкий и навязчивый мотив.*

*И снится нам, и видится порою,
глядя в окно, в узорах серебра
исчадьё это, чудо неземное
на чёрных крыльях звёздного костра.*

Кабул притих, за эмалью лакированных дворцов пропали бедняки, фарисеи и купцы, и в шпильях с гребнями лун запутался вздох метели. На свободной полосе создалось оживление, осой ветрепенулся конус ветряка, прошмыгнул озабоченный заправщик, и проволокалась в вихрях забвения водовозка, вознося на дугах радуг дождь, снег, ложь...

И потянулись к трапам советники и прорицатели Главпура, атлеты и атланты ГРУ, отпускники и казначеи, лекари и маркитанты, толмачи и музы агитбригад, подранки обречённого Союза, великий и немой бесценный груз.

Моторы захлебнулись воем, и на трёх столбах караульной вышки, закованный в стальные латы, махнул рукавом кому-то вечный солдат.

И тает удаляющийся гром, гаснет в снегах тоннельный зев портала, и светится фанерная пластина — печать, повестка уходящим в детский дом.